

Александр Жолковский

## Пятеро с раньшего времени

Об одном мотивном кластере метасоветской литературы

---

В солженицынском рассказе «Случай на станции Кочетовка» (1963), близко к началу, проходит эпизодический персонаж — старый вагонный мастер Кордубайло, уже десять лет, как пенсионер, но осенью 1941-го вышедший на работу, чтобы помочь фронту. Он принимает участие в обсуждении инцидента с конвоируемыми окруженцами, бросившимися вскрывать мешки с мукой, в результате чего один из них был застрелен охранником и чуть не возник бунт. Разговор клонится в сторону, которая кажется «идейному» герою рассказа лейтенанту Зотову политически сомнительной, он вступает в дискуссию и натывается на неожиданный аргумент Кордубайло.

Недалеко от двери, чтобы не наследить, сидел чуть в сторону печи прямо на полу, ослонясь о стену, старик Кордубайло <...> Растрёпанная борода его меж сединой сохраняла ещё черноту.

— А что ж [охраннику] оставалось? — доказывала Валя, пристукивая карандашиком. — Ведь он на посту <...>

— Ну, правильно, — кивал старик <...> Правильно... Есть все хотят...

— К чему это ты? — нахмурилась девушка. — Кто это — все?

— Да хоть бы мы с тобой, — вздохнула Кордубайло.

— <...> Да что ж они — голодные? <...> Что ж их, без пайка везут, думаешь?

— Ну, правильно, — согласился дед <...>

Старик <...> чуть приподнял кудлато-седую голову в картузе:

— Вы, девки, часом, сырой муки, в воде заболтавши, не ели?

— Зачем же — сырую? — поразились тётя Фрося. — Забол-  
таю, замешу да испеку <...>

— Значит, голоду вы не видали, милые.

Лейтенант Зотов переступил порог и вмешался:

— Слушай, дед, а что такое п р и с я г а — ты воображаешь,  
нет? <...>

Дед мутно посмотрел на лейтенанта. Сам дед был невелик,  
но велики и тяжелы были его сапоги, налитанные водой и кой-  
где вымазанные глиной.

— Чего другого, — пробурчал он. — Я и сам пять раз при-  
сягал.

— Ну, и кому ты присягал? Царю Миколашке?

Старик мотнул головой:

— Хватай раньше.

— Как? Ещё Александру Третьему?

Старик сокрушённо чмокнул и курил своё.

— Ну! А теперь — народу присягают. Разница есть? <...>  
А мука чья? Не народная? — горячилась Валя <...> Муку — для  
кого везли? Для немцев, что ли?

— Ну, правильно, — ничуть не спорил старик. — Да и ре-  
бята тоже не немцы ехали, тоже наш народ (*Солженицын*  
1990: 204—206).

В дискурсе Кордубайло примечательно совмещение на ко-  
ротком пространстве двух аспектов центральной темы рассказа.  
Один — это эзоповский коллаж приятия официальных совет-  
ских ценностей («Ну, правильно... правильно») с упором на неу-  
странимые естественные, «вечные» («Есть все хотят»). Другой —  
демонстрация узости, относительности, временности всего совет-  
ского («...что такое присяга — ты воображаешь?...») путем выхода  
за его пределы («...пять раз присягал») на более широкий исто-  
рический, и в этом смысле тоже «вечный», простор.

Носитель этих «вечных» ценностей, старик Кордубайло,  
в сюжете далее не фигурирует, уступив роль «нормального чело-  
века» Тверитинову, но его выход остается одним из наиболее  
красноречивых эпизодов рассказа. Эффектная ссылка на пять  
воинских присяг взывает к поискам литературных параллелей,  
и вероятных интертекстов-источников обнаруживается по мень-  
шей мере два.

Прежде всего, это речи старика Фунта, нанимающегося зиц-  
председателем в контору по заготовке рогов и копыт в главе XV  
«Золотого теленка» (1931) и увозимого в тюрьму в гл. XXIII:

— Ах, вы подставное лицо?

— Да, — сказал старик, с достоинством тряся головой. — Я — зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором «Освободителе», при Александре Третьем «Миротворце», при Николае Втором «Кровавом».

И старик медленно загибал пальцы, считая царей.

— При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при нэпе! <...> Это были лучшие дни моей жизни. За четыре года я провел на свободе не больше трех месяцев. Я выдал замуж внучку, Голконду Евсеевну, и дал за ней концертное фортепьяно, серебряную птичку и восемьдесят рублей золотыми десятками. А теперь я хожу и не узнаю нашего Черноморска. Где это все? Где частный капитал? Где первое общество взаимного кредита? Где, спрашиваю я вас, второе общество взаимного кредита? Где товарищество на вере? Где акционерные компании со смешанным капиталом? Где это все? Безобразия! <...>

Слушая Фунта, Паниковский растрогался. Он отвел Балаганова в сторону и с уважением зашептал:

— Сразу видно человека с раньшего времени. Таких теперь уже нету и скоро совсем не будет (*Ильф и Петров*: 169—170).

— От Фунта все скрывали. Я должен только сидеть, в этом моя профессия. Я сидел при Александре Втором, и при Третьем, и при Николае Александровиче Романове, и при Александре Федоровиче Керенском. И при нэпе, до утара нэпа и во время утара, и после утара. А сейчас я без работы и должен носить пасхальные брюки (180).

В экипаже ехал Фунт. Он совсем был бы похож на доброго дедушку, покотившего после долгих сборов в гости к женатому внуку, если бы не милиционер, который, стоя на подножке, придерживал старика за колючую спину.

— Фунт всегда сидел, — услышали антилоповцы низкий глухой голос старика <...> — Фунт сидел при Александре втором *освободителе*, при Александре третьем *миротворце*, при Николае втором — *кровавом*, при Александре Федоровиче Керенском... — И, считая царей и присяжных поверенных, Фунт загибал пальцы (261).

Многочисленным принятиям присяги у Солженицына здесь соответствуют отсидки при разных режимах. Акцент на хронологии не меньший, если не больший, как и на ее принципиальной сводимости к одному главному водоразделу — октябрьскому. Во-

площением памяти об ушедшем времени является фигура старика, получающая здесь эмблематическое, с одесским акцентом (поскольку дело происходит в Черноморске/Одессе), определение: «человек с раньшеего времени». Противопоставление и взаимное наложение двух культур, до- и пореволюционной, является одной из инвариантных тем саги о Бендере; и в этом эпизоде, как и в остальных, она подается вполне в открытую, почти без эзоповской конспирации.

Источником ильфопетровского перечня царей и присяжных поверенных, по-видимому, была, согласно *Щеглов*: 527, недавняя на тот момент повесть Бориса Пильняка «Красное дерево» (1929), вышедшая в берлинском изд-ве «Петрополис» (печатавшем советских писателей), немедленно заклеянная отечественной прессой в качестве антисоветской, но в переделанном виде вошедшая в роман «Волга впадает в Каспийское море» (1930). Вот соответствующий фрагмент у Пильняка, венчающий пассаж об исторической памяти и преемственности:

Дом стоял в неприкосновенности от Екатерининских времен, за полтора столетия своего существования потемнел, как его красное дерево, позеленев стеклами. Яков Карпович помнил крепостное право. Старик все помнил — от барина своей крепостной деревни, от наборов в Севастополь; за последние пятьдесят лет он помнил все имена отчества и фамилии всех русских министров и наркомов, всех послов при императорском русском дворе и советском ЦИК'е, всех министров иностранных дел великих держав, всех премьеров, королей, императоров и пап. Старик потерял счет годам и говорил:

— Я пережил Николая Павловича, Александра Николаевича, Александра Александровича, Николая Александровича, Владимира Ильича, — переживу и Алексея Ивановича [Рыкова]!

У старика была очень паршивая улыбочка, раболопная и ехидная одновременно, белесые глаза его слезились, когда он улыбался (*Пильняк*, гл. 1).<sup>1</sup>

В повести Пильняка главным носителем темы традиций, уходящих в далекое досоветское прошлое, служит заглавный об-

---

<sup>1</sup> Ностальгическая ориентация пильняковского краснодеревщика могла повлиять и на другого старика с раньшеего времени в «Золотом теленке» — Хворобьева, жаждущего старорежимных снов; о Хворобьеве см. *Жолковский* 1994, *Щеглов*: 417—433.

раз красного дерева и династий краснодеревщиков и реставраторов, сплетенных с историей царствующей династии. Этот кластер мотивов проходит в тексте еще дважды:

Десятками лет иной мастер делал один какой-нибудь самосон или туалет, или бюро, или книжный шкаф, — работал, пил и умирал, оставив свое искусство племяннику, ибо детей мастеру не полагалось, и племянник или копировал искусство дяди, или продолжал его. Мастер умирал, а вещи жили столетием в помещичьих усадьбах и особняках, около них любили и на самосонах умирали, в погайные ящики секретеров прятали тайные переписки, невесты рассматривали в туалетных зеркальцах свою молодость, старухи — старость. Елизавета — Екатерина — рококо, барокко бронза, завитушки, палисандровое, розовое, черное, карельское дерево, персидский орех. Павел — строг, Павел — мальтиец; у Павла солдатские линии, строгий покой, красное дерево темно заполировано, зеленая кожа, черные львы и грифы. Александр — ампир, классика, Эллада. Николай — вновь Павел, задавленный величием своего брата Александра. Так эпохи легли на красное дерево. В 1861-м году пало крепостное право. Крепостных мастеров заменили мебельные фабрики — Левинсон, Тонэт, венская мебель. Но племянники мастеров — через водку остались жить. Эти мастера теперь ничего не строят, они реставрируют старину, но они оставили все навыки и традиции своих дядей. Они одиночки, и они молчаливы. Они горды своим делом, как философы, и они любят его, как поэты. Они по-прежнему живут в подвалах. Такого мастера не пошлешь на мебельную фабрику, его не заставишь отремонтировать вещь, сделанную после Николая первого. Он — антиквар, он — реставратор. Он найдет на чердаке московского дома или в сарае не сожженной усадьбы, — стол, трельяж, диван — екатерининские, павловские, александровские — и он будет месяцами копать над ними у себя в подвале, курить, думать, примеривать глазом, — чтобы восстановить живую жизнь мертвых вещей. Он будет любить эту вещь. Чего доброго, он найдет в секретном ящике бюро пожелтевшую связку писем. Он — реставратор, он глядит назад, во время вещей. Он обязательно чудак, — и он по чудачески продаст реставрированную вещь такому же чудаку-собирателю, с которым — при сделке он выпьет коньяку, перелитого из бутылки в екатерининский штоф и из рюмки — бывшего императорского алмазного сервиза (*Пильняк*, гл. 2).

Искусство красного дерева было безымянным искусством, искусством вещей. Мастера спивались и умирали, а вещи оста-

вались жить, и жили, — около них любили, умирали, в них хранили тайны печалей, любовей, дел, радостей. Елизавета, Екатерина — рококо, барокко. Павел — мальтиец, Павел строг, строгий покой, красное дерево темно заполировано, зеленая кожа, черные львы, грифы, грифоны. Александр — ампир, классика, Эллада. Люди умирают, но вещи живут, — и от вещей старины идут «флюиды» старинности, отошедших эпох. В 1928-ом году — в Москве, в Ленинграде, по губернским городам — возникли лавки старинностей, где старинность покупалась и продавалась, — ломбардами, госторгом, госфондом, музеями: в 1928-ом году было много людей, которые собирали — «флюиды». Люди, покупавшие вещи старины после громов революции, у себя в домах, облюбовывая старину, вдыхали — живую жизнь мертвых вещей. И в почете был Павел — мальтиец — прямой и строгий, без бронзы и завитушек (*Пильняк*, гл. 5).

В связи с Кордубайло возникает вопрос (который пока остается открытым), позаимствован ли этот образ у предшественников, и если да, то у кого из них: из явно занимавшей Солженицына саги о Бендере<sup>2</sup> или из «антисоветского» Пильняка, оцененного им, однако, лишь задним числом?<sup>3</sup> Заимствование же Ильфом и Петровым у Пильняка Щеглов полагает вероятным и обращает внимание на одну интересную с точки зрения эзоповского письма переключку. Третий пассаж о Фунте (в гл. XXIII, см. выше) он, со ссылкой на предшественника, комментирует следующим образом:

Я. С. Лурье замечает по поводу этого места: «Текст оказывается несколько двусмысленным: присяжные поверенные названы во множественном числе, а ведь кроме Керенского Россией правил еще только один носитель этого звания — Владимир Ульянов» [*Курдюмов*: 107]. Точности ради следует указать, что В. И. Ленин был *помощником* присяжного поверенного [БСЭ, 3-е изд., т. 14: 294]. Это не единственное место у соавторов, где комментаторами усматриваются намеки на Ленина [ср. ЗТ 15//9, ЗТ 30// 6]» (*Щеглов*: 575).

И далее, в примечании к этому комментарию, Щеглов пишет:

---

<sup>2</sup> О переключке «Ленина в Цюрихе» с «Двенадцатью стульями» см. Жолковский 2011.

<sup>3</sup> См. Солженицын 1967, 1997.

Стоит заметить, что в «Красном дереве» Б. Пильняка, откуда, вероятно, позаимствованы эти слова, имя Ленина упоминается открыто (но Керенский отсутствует) (Щеглов: 576).

Независимо от характера интертекстуальных связей между текстами Солженицына, Ильфа и Петрова и Пильняка, очевидно типологическое родство образа старого свидетеля прошлого и его нацеленность на темы исторической памяти как противостоящей тоталитарному контролю. Но тогда естественно предположить аналогичную разработку этого кластера в классическом антитоталитарном романе XX в. — «1984» (1949) Джорджа Оруэлла, где направленное искажение исторической памяти является прямой служебной обязанностью протагониста, Уинстона Смита, сотрудника Министерства Правды. Обращение к оруэлловскому тексту приносит интереснейший результат.

Усомнившийся в официальной идеологии Смит отправляется в рабочий район и в пабе знакомится со старым пролетарием — old prole. Позволю себе длинную выдержку:

Древний старик, согнутый, но энергичный, с седыми, торчащими, как у рака, усами, распахнул дверь и скрылся в пивной. Уинстону пришло в голову, что этот старик, которому сейчас не меньше восемьдесят, застал революцию уже взрослым мужчиной <...> И если есть живой человек, который способен рассказать правду о первой половине века, то он может быть только пролом. Уинстон <...> загорелся безумной идеей. Он войдет в пивную, завяжет со стариком знакомство и расспросит его <...>

Старик <...> препирался у стойки с барменом — крупным, грузным молодым человеком <...>

— Тебя как человека просят, — петушился старик <...> — А ты мне говоришь, что в твоём кабаке не найдется пинтовой кружки?

— Да что это за чертовщина такая — пинта? — возражал бармен <...> Сроду не слышал. Подаем литр, подаем пол-литра — и все <...>

— В мое время никаких ваших литров не было.

— В твоё время мы все на ветках жили, — ответил бармен, оглянувшись на слушателей.

Раздался громкий смех <...> Лицо у старика сделалось красным <...> Уинстон вежливо взял его под руку.

— Разрешите вас угостить? <...>

— Благородный человек <...>

У окна стоял сосновый стол — там можно было поговорить со стариком с глаза на глаз. Риск ужасный; но по крайней мере телекрана нет — в этом Уинстон удостоверился, как только вошел.

— Со времен вашей молодости вы, наверно, видели много перемен <...>

— Пиво было лучше <...> И дешевле! <...> Но это до войны, конечно.

— До какой? <...>

— Ну, война, она всегда, — неопределенно пояснил старик <...>

— Вы намного старше меня <...> И можете вспомнить прежнюю жизнь, до революции <...> Только в книгах прочтешь, а кто его знает — правду ли пишут в книгах? Хотелось бы от вас услышать. В книгах по истории говорится, что жизнь до революции была совсем не похожа на нынешнюю. Ужасное угнетение, несправедливость, нищета — такие, что мы и вообразить не можем <...> Огромное множество людей с рождения до смерти никогда не ели досыта <...> А в то же время меньшинство <...> так называемые капиталисты — располагали богатством и властью <...> Жили в роскошных домах, держали по тридцать слуг, разъезжали на автомобилях и четверках, пили шампанское, носили цилиндры...

Старик внезапно оживился.

— Цилиндры! <...> Только вчера про них думал <...> Сколько лет уж, думаю, не видел цилиндра <...> А я последний раз надевал на невесткины похороны. Вот еще когда... год вам не скажу, но уж лет пятьдесят тому <...>

— Цилиндры — не так важно, — терпеливо заметил Уинстон. — Главное то, что капиталисты... они и священники, адвокаты и прочие, кто при них кормился, были хозяевами Земли. Все на свете было для них. Вы, простые рабочие люди, были у них рабами. Они могли делать с вами что угодно <...> Приказать, чтобы вас выпороли какой-то девятихвостой плеткой. При встрече с ними вы снимали шапку. Каждый капиталист ходил со сворой лакеев...

Старик вновь оживился.

— Лакеи! Сколько же лет не слышал этого слова, а? Лакеи. Прямо молодость вспоминаешь, честное слово. Помню... вот еще когда... ходил я по воскресеньям в Гайд-парк, речи слушать <...> И был там один... имени сейчас не вспомню — но сильно выступал! Ох, он их чихвостил. Лакеи, говорит. Лакеи буржуазии! Приспешники правящего класса! Паразиты — вот как загнул еще. И гиены... гиенами точно называл. Все это, конечно, про лейбористов, сам понимаешь.



Уинстон почувствовал, что разговор не получается <...>.

— Палата лордов <...> Правда ли, например, что вы должны были говорить им “сэр” и снимать шапку при встрече? <...>

— Да, — сказал он. — Любили, чтобы ты дотронулся до кепки. Вроде оказал уважение. Мне это, правда сказать, не нравилось — но делал, не без того. Куда денешься, можно сказать.

— А было принято <...> — я пересказываю то, что читал в книгах по истории, — у этих людей и их слуг было принято сталкивать вас с тротуара в сточную канаву?

— Один такой меня раз толкнул, — ответил старик. — Как вчера помню. В вечер после гребных гонок... ужасно они буянили после этих гонок... на Шафтсбери-авеню налетаю я на парня. Вид благородный — парадный костюм, цилиндр, черное пальто. Идет по тротуару, виляет — и я на него случайно налетел. Говорит: «Не видишь, куда идешь?» — говорит. Я говорю: «А ты что, купил тротуар-то?» А он: «Грубить мне будешь? Голову, к чертям, отверну». Я говорю: «Пьяный ты, — говорю. — Сдам тебя полиции, оглянуться не успеешь». И, веришь ли, берет меня за грудь и так пихает, что я чуть под автобус не попал. Ну, а я молодой тогда был и навесил бы ему, да тут...

Уинстон почувствовал отчаяние. Память старика была просто свалкой мелких подробностей. Можешь расспрашивать его целый день и никаких стоящих сведений не получишь. <...> Он сделал последнюю попытку <...>

— Вы очень давно живете на свете, половину жизни вы прожили до революции. Например, в тысяча девятьсот двадцать пятом году вы уже были взрослым <...> [К]ак по-вашему, в двадцать пятом году жить было лучше, чем сейчас, или хуже? Если бы вы могли выбрать, когда бы вы предпочли жить — тогда или теперь?

Старик <...> наконец ответил с философской примиренностью, как будто пиво смягчило его.

— Знаю, каких ты слов от меня ждешь. Думаешь, скажу, что хочется снова стать молодым. Спроси людей: большинство тебе скажут, что хотели бы стать молодыми. В молодости здоровье, сила, все при тебе. Кто дожил до моих лет, тому всегда нездоровится <...> Но и у старости есть радости. Забот уже тех нет. С женщинами канительется не надо — это большое дело. Веришь ли, у меня тридцать лет не было женщины. И неохота, вот что главное-то.

Уинстон отвалился к подоконнику. Продолжать не имело смысла <...> Через двадцать лет, размышлял он, великий и простой вопрос «Лучше ли жилось до революции?» — окончательно станет неразрешимым. Да и сейчас он, в сущности, не-

разрешим: случайные свидетели старого мира не способны сравнить одну эпоху с другой. Они помнят множество бесполезных фактов <...> но то, что важно, — вне их кругозора <...> А когда память отказала и письменные свидетельства подделаны, тогда с утверждениями партии, что она улучшила людям жизнь, надо согласиться — ведь нет и никогда уже не будет исходных данных для проверки (*Оруэлл, I, гл. 8*).

Оруэлл в 1949 г. ставит все вопросы прямее и оказывается пессимистичнее остальных — как Пильняка и Ильфа и Петрова накануне перехода к сталинизму, так и Солженицына в эпоху оттепельных надежд.

Очередную скептическую вариацию на тему человека с раньшего времени находим у Андрея Сергеева в «рассказике» (это его определение собственного жанра) «Как?» (1967, опубл. 1997):

- Дедушка, здравствуй, как поживаешь?
- Спасибо, внучек, прекрасно. Прекрасно.
- Дедушка, я тебя хотел спросить, а как при царе было?
- Что? Гм... При царе? Великолепно было, замечательно. Лучше не придумаешь.
- А как?
- Да знаешь, морозец такой, солнышко светит. День чудесный.
- Значит, хорошо. А после революции как стало?
- После революции? Хорошо стало. Красиво. Пустынно так, просторно. Каждая мелочь до слез радует. Очень хорошо.
- Что ж ты тогда в Париж уехал?
- А я не уехал! Выслали.
- Как же выслали, если все так хорошо было?
- А вот так: взяли и выслали.
- Ну ладно. А как в Париже было?
- В Париже? Как в сказке. Богатство такое, веселье. Европа. Дышишь всей грудью. Каждый день праздник.
- Как же каждый день, если немцы потом пришли? Дедушка, а при немцах как стало?
- При немцах? Хорошо стало. Красиво. Пустынно так, просторно. Каждая мелочь до слез радует. Очень хорошо.
- Что ж хорошего, если немцы тебя арестовали и убить хотели?
- Ну при чем тут немцы? Меня в Гражданскую свои четыре раза арестовывали — красные, белые, зеленые и еще какие-то. Меня даже французы раз арестовали, правда, эти убить не хотели. И потом после репатриации я свое отсидел. На родине.

- А как тебе теперь на родине?  
— И не говори! Изумительно! На родине, друг мой, всегда хорошо. Живу — не нарадуюсь! (Сергеев: 497—498).

Рассказик (приведенный здесь целиком) явно написан поверх текстов предшественников<sup>4</sup> и в непроницаемо издевательском постмодерном ключе снимает все противоречия.

Любопытным аналогом двух последних примеров с парадоксальными провалами памяти, отменяющими какие-либо шансы проникновения в прошлое через его свидетелей, является один из эпизодов «Старика Хоттабыча» Л. Лагина (1938), удручающе советской параллели к булгаковскому «Мастеру и Маргарите» (писавшемуся более или менее одновременно),<sup>5</sup> где древний волшебник всячески перевоспитывается двумя юными пионерами, не желающими ничего знать о прошлом и вообще о чем-либо ином, нежели окружающая социалистическая реальность. Особенно красноречива глава, написанная в сказовой манере с точки зрения простоватого эпизодического персонажа: «Рассказ проводника международного вагона скорого поезда Москва-Одесса о том, что произошло на перегоне Нары — Малый Ярославец».

Проводник рассказывает своему напарнику о странных пассажирах седьмого купе (старике Хоттабыче и его юных друзьях-пионерах), видимо, бедных, ибо едущих без багажа, но спрашивающих о вагоне-ресторане, а узнав, что его в поезде нет, говорящих, что так даже лучше, и вскоре принимающих почтительное обслуживание со стороны неизвестно откуда взявшихся экзотических невольников. Проводник не верит, что те служат своему повелителю уже три с половиной тысячи лет, поражается богатству принесенных ими угощений, требует у них билеты, пытается взять с Хоттабыча штраф, но в конце концов, уходит ни с чем, а наутро ничего не помнит о происшедшем. Почему?

За час до прибытия поезда в Одессу проводник пришел в седьмое купе убирать постели. Хоттабыч его угостил яблоками.

---

<sup>4</sup> Будучи переводчиком-англистом, автор, конечно, имел доступ к роману Оруэлла в оригинале много раньше других в СССР.

<sup>5</sup> Параллель между романами Лагина и Булгакова проводилась в: *Чудакова 2007* и *Быков 2009*.

— В Москве, наверно, покупали, в «Гастрономе?» — с уважением сказал проводник и спрятал яблоки в карман для своего сынишки <...> Большое вам спасибо, гражданин!

Было очевидно, что он ничегошеньки не помнил о том, что произошло в его вагоне на перегоне Нара — Малый Ярославец. Когда он покинул купе, Серёжа восхищённо крикнул:

— А молодец всё-таки Волька! <...>

В ту памятную ночь, когда разъярённый и сбитый с толку проводник покинул седьмое купе, Волька, опасаясь, как бы тот не разболтал о происшедшем, обратился к Хоттабычу с вопросом:

— Можешь ли ты сделать так, чтобы этот человек вдруг стал пьяным?

— Это сущий пустяк для меня, о Волька.

— Так сделай это, и как можно скорее. Он тогда завалится спать, а утром проснётся и ничего не будет помнить.

— Превосходно, о умница из умниц! — согласился Хоттабыч и махнул рукой (*Легин; гл. XXXIV*).

Образцовая техника обеспечения исторической амнезии налицо уже в 1938 г. в популярном романе-сказке для детей.

\* \* \*

Выявленный на нескольких примерах кластер можно предварительно определить как «удивительную встречу со стариком — свидетелем дореволюционной эпохи, ведущую, вопреки официальной идеологии, к констатации/осмыслению (читателем и реже некоторыми из персонажей) происшедших исторических перемен». Для его структуры характерно четкое соотнесение фактов жизни старика именно с политической стороной истории: акцент не на всей полноте его биографии, а исключительно на его взаимодействии с эмблематическими приметамы эпохи (воинскими присягами, именами и прозвищами императоров, названиями государственных режимов и стилей мебели...). Сам же старик подается в качестве второстепенного, проходного персонажа, своего рода забавного музейного экспоната, рассматриваемого (иногда интервьюируемого) протагонистами.

Этот персонаж/кластер представляет собой одну из многообразных вариаций на более общую тему восприятия времени. Среди них такие, как:

— Реальный или реалистический персонаж, проживший долгую жизнь и позволяющий автору столкнуться на материале его биографии разные эпохи (Галейран, присягнувший и служивший чуть ли не десятку режимов в эпоху французской революции, Наполеона, Реставрации и после Июльской революции; у Пушкина — старая графиня в «Пиковой даме», старуха Бунтова, помнящая пугачевщину в «Истории Пугачева», адресат «Вельможи» князь Юсупов, знавший Вольтера; заглавный герой «Сандро из Чегема» Искандера; столетний Джек Крэбб, свидетель и участник долгой истории войн между белыми и индейцами в романе и фильме «Маленький большой человек»);

— Полуфантастический персонаж, так или иначе пропустивший целый период времени между разными эпохами и оказывающийся наивным пришельцем в новой, послереволюционной действительности (Рип ван Винкль, проспавший американскую войну за независимость в новелле Вашингтона Ирвинга; герой «Обломка империи» Эрмлера, на десяток лет лишившийся памяти во время Первой мировой войны), или вообразивший, например, во сне, путешествие в иную эпоху (коннектикутский янки Марка Твена, попадающий ко двору короля Артура);

— Фантастический персонаж, живущий вечно (Вечный Жид и Мельмот-скиталец; Столетний Старец раннего, псевдонимного, Бальзака; его же Серафита; Воланд, встречавшийся с Пилатом и Кантом и посещающий советскую Москву) или путешествующий на той или иной машине времени (герои «Машины времени» Уэллса, новеллы «И грянул гром» Брэдбери и множества других научно-фантастических сюжетов).

Это богатейшее поле для дальнейших исследований.

## Литература

Быков Дм. 2009. Великая пирамида. Леонид Леонов как певец Апокалипсиса // Русская жизнь 27.01.2009. (<http://www.rulife.ru/mode/article/1137>).

Жалковский А. 1994. Замятин, Оруэлл и Хворобьев: о снах нового типа // Он же. Блуждающие сны и другие работы. М.: Восточная литература. С. 165—190 (<http://www-bcf.usc.edu/~alikh/rus/ess/orwell.htm>).

Жалковский А. 2011. Бендер в Цюрихе // Звезда, 2011: 10 (в печати).

Ильф И. и Е. Петров 1961. Собрание сочинений в пяти томах. М. ГИХЛ. Т. 2. Золотой теленок. Рассказы, очерки, фельетоны (1929—1931).

- Курдюмов А. 1983. В краю непутаных идиотов Книга об Ильфе и Петрове. Париж: La Presse Libre.
- Лагин Л. 1938. Старик Хоттабыч  
(<http://on-island.net/Literature/Lagin/Hottab/1938.htm>).
- Оруэлл Дж. 1989 [1949]. «1984» и эссе разных лет // М.: Прогресс  
([http://orwell.ru/library/novels/1984/russian/ru\\_p\\_1](http://orwell.ru/library/novels/1984/russian/ru_p_1)).
- Пильняк Бор. 1929. Красное дерево. Берлин: Петрополис  
([http://imwerden.info/belousenko/books/Pilnyak/pilnyak\\_red\\_wood.htm](http://imwerden.info/belousenko/books/Pilnyak/pilnyak_red_wood.htm)).
- Сергеев А. 1997 [1967]. Как?// Он же Omnibus: Альбом для марок. Портреты. О Бродском. Рассказики // М.: НЛО. С. 497—498.  
(<http://www.vavilon.ru/shortprose/sergeev.html>),
- Солженицын А. 1967. Письмо IV Всесоюзному съезду Союза советских писателей (Вместо выступления) 16 мая 1967  
(<http://antology.igrunov.ru/authors/solz/letter-to-writers.html>).
- Солженицын А. 1990. Рассказы. М.: Центр «Новый мир».
- Солженицын А. 1997. «Гольный год» Бориса Пильняка. Из «Литературной коллекции» // Новый Мир, 1997, 1: 195—203  
([http://magazines.russ.ru/novyi\\_mi/1997/1/solgen-pr.html](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1997/1/solgen-pr.html)).
- Чудакова М. 2007. Воланд и старик Хоттабыч // Она же. Новые работы. 2003—2006. С. 469—478.
- Щеглов Ю. 2009. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. 3-е изд. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха.